

Аѣ нѣи ѣ ѣ єі аі єү

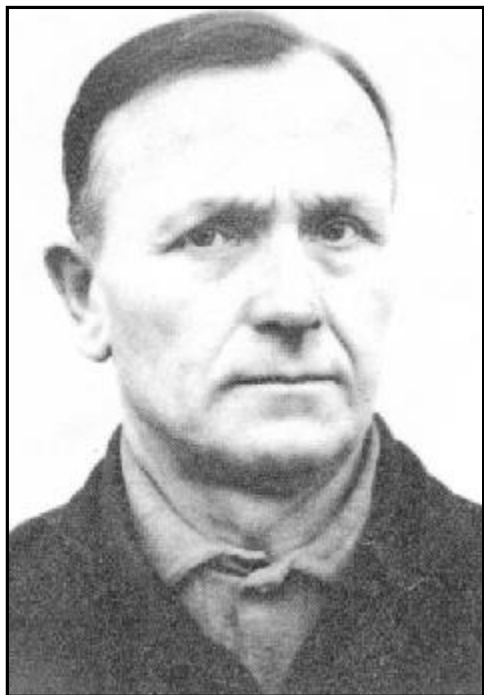
А. А. Єааіѣа

Аѣ нѣи ѣ ѣ єі аі єү єѣаѣоүѣі ѣѣѣѣѣ ѣѣѣ а

АВТОР воспоминаний Василий Анисимович Иванов (1919 - 2007) родился в деревне Заольшажѣ Палкинского района, с детских лет трудился в домашнем крестьянском хозяйстве. В 1931 - 1937 гг. обучался в школе, после окончания которой работал в колхозе «Парижская Коммуна», а в 1938 г. районный отдел народного образования направил его на курсы в Ленинградскую областную школу политпросветработников. По окончании курсов заведовал районным клубом в Палкине, в 1939 г. был призван в Красную Армию и проходил службу в 496-м отдельном танковом батальоне 140-й стрелковой дивизии, участвовал в Великой Отечественной войне. Демобилизовавшись в 1947 г., жил и работал в Палкинском районе, в 1971 г. был награжден орденом «Знак Почета». С 1979 г. находился на пенсии. Родная деревня В.А.Иванова ныне не существует: в 1984 г. из нее уехал последний житель, и постановлением Псковского областного собрания депутатов от 23 июня 2000 г. она исключена из списка населенных мест Палкинского района.

Воспоминания В.А.Иванова являются собой редкий пример «крестьянских мемуаров» и повествуют о жизни простой русской деревни в переломные моменты истории страны. Текст их передал для публикации краевед Г.А.Кайдалов (пос. Палкино).

МОЯ родная деревня Заольшажѣ располагалась в пяти километрах севернее деревни Слопыгино, через нее проходили дороги на Псков и Палкино, так что деревня была вроде разъездной станции. По обе стороны дорог, на значительном расстоянии друг от друга стояли добротные избы с надворными постройками, между ними располагались сады, а вокруг деревни, как крепости, - длинные гумна с ригами. В округе деревня Заольшажѣ считалась богатой, а впоследствии даже кулацкой, хотя богатеев в ней почти не было, как и нищих тоже. Собственного хлеба до нового урожая не хватало, на низких полях, страдавших от переувлажнения, росло много костра, зерно которого имело жесткую оболочку и отличалось мизерным размером. Хлеб, выпеченный из ржаной муки с костром, был колким и неприятным на вкус, но жители были довольны и этим. На расстоянии 1,5 - 2 км от деревни протекала речка Ялычка, имевшая для жителей большое значение: в воде этой родниковой речки мочили очесанную от головок льнотресту. Для этого по берегам были выкопаны водоемы-мочила, заполнявшиеся родниковой водой перед тем, как замочить тресту: временно перекрывали русло речки запрудой, ставили «дверь», речка выходила из берегов, и вода попадала в мочила. Из льнотресты, вымоченной в родниковой воде, получалось хорошего качества волокно.



В. А. Иванов

По сравнению с другими деревнями за-ольшажцы имели земли побольше, поэтому она и считалась более зажиточной. Но так было не всегда. Отец мой Анисим Иванов еще помнил времена, когда большинство жителей были очень бедными, и перечислял хозяйства, у которых своего хлеба хватало лишь до масленицы, а у кого – до Пасхи. В деревне стали жить получше после того, как из Швеции завезли семена клевера и ввели семипольный севооборот. После этого нововведения появилась возможность лошадей кормить клеверным сеном, а коров – луговым. О минеральных удобрениях в те годы никто не имел никакого представления, поэтому урожаи были невысокие. Можно было слышать от взрослых, что 100 пудов зерна с десятины может где и получают, да только не у нас. Особенно трудно жилось тем семьям, которые делились, а делить иногда было нечего. Но иначе никак: трем женатым братьям с детьми в избе размером 6 х 6 метров становилось тесно, возникали ссоры, поэтому и приходилось делиться, обзаводиться собственным хозяйством на новом месте.

Все взрослые и дети зимой носили лапти, домотканые портки и рубахи, а весной, когда появлялись первые проталины, ребята бегали босиком. Не имели хорошей обуви и взрослые, а чтобы не промочить лапти, во время оттепели они подвязывали к ним досочки. Люди часто болели, дети же нередко умирали в раннем возрасте.

В годы Первой мировой войны на военную службу было призвано из деревни 18 человек, по счастью все, за исключением одного погибшего (Алексеева Сергея), остались живы. Мужики, пришедшие с мировой, а затем и с Гражданской войны, сумели в годы НЭПа подремонтировать обветшавшие постройки, вырастить молодых лошадей и стали по-настоящему обрабатывать землю, разделенную после революции между хозяйствами по количеству членов семьи.

В нашей деревне между соседями серьезных скандалов не бывало. Моя мачеха, например, удивлялась тому, что даже подвыпившие мужики не скандалят. Почти все взрослые жители, особенно в зимнее время, собирались в чьей-нибудь избе, молодежь веселилась, танцевала кадрили, пела, плясала, а люди постарше ими любовались. Очень часто мужики собирались просто покурить: рано утром, когда еще не прошли сумерки, накормив и напоив лошадей, они приходили к кому-то из односельчан, и начинались беседы. А беседовать было о чем: вернувшиеся с войны делились воспоминаниями, здесь же решались и хозяйственные вопросы – на каком поле что сеять, как ремонтировать мост... Беседы эти продолжались не один час. За время, пока отец «курил» на сборище, мать успевала истопить печь, посадить в нее хлебы, напечь блинов, приготовить завтрак и тогда уже посылала меня за ним. В это время на улице и в избе было уже светло, и лампа в месте сборища погашена.

В те годы площадь избы была невелика, почти четвертую часть ее занимала печь, с одной стороны от нее располагались за завесой кровати с постелями, а напротив, у входной двери стояла лохань, над которой висел гилек (умывальник), дальше – стол, накрытый скатертью. Так что места для сборища в 20 и более человек оставалось не так уж много. В избе после него от пола до потолка

стоял серый дым от самосада, пол был забро- сан окурками. За отцами приходило много ребят, и мужики, наговорившиеся и доволь- ные собой, спешили к завтраку, чтобы после него опять собраться в какой-нибудь избе, по- тому что в праздничные зимние дни работать было грешно. Днем приходили принарядив- шимися, переобувшись из лаптей в валенки, и мужики теперь меньше курили, потому что народу прибавлялось за счет женского на- селения. Молодые мужики играли в карты, иногда на деньги, а чаще всего в «подкидно- го дурака» или в «козла», а если на сборище была гармонь или балалайка, то молодежь танцевала. Так и протекала жизнь в деревне Заольшажье: люди умирали и нарождались, одно поколение сменяло другое...

Деревня впервые сильно взволновалась в 1927 г., когда объявили о том, что вся зем- ля, принадлежавшая деревне, будет поделена на отдельные участки (отруба) по количеству членов семьи на данное число. Проводил в жизнь это мероприятие сельсовет, предсе- дателем которого был житель деревни Голу- бы Павел Барышников, в прошлом работник одного из зажиточных хозяев нашей деревни. Все лето 1927 г. на полях работал землемер, отмерявший отдельные участки. Результаты его работы держались в строгом секрете, но всем было известно, что лучшую землю по- лучат те хозяйства, где хозяином является «примак», т.е. мужчина, пришедший жить в дом жены. Почему-то именно такие хозяйства всегда были наиболее бедными и пользова- лись поддержкой советской власти. Земли по плодородию были разные, поэтому большин- ство жителей ожидало результатов работы землемера с большой тревогой. Их объявили осенью на собрании, проводившемся в одной из изб. Отец ушел на собрание, но помню, что, не дождавшись своей очереди, он пришел домой утолить голод. Быстро сел к столу, даже не перекрестился на икону, пододвинул к себе солонку, а мне для скорейшего завершения «трапезы» приказал чистить вареную картош- ку. Я по-быстрому снимал «мундиры» с кар- тошки и подавал отцу, он макал облупленную картофелину в соль и отправлял в рот. Хлеб жевать было уже некогда: отец очень боялся опоздать к моменту объявления, чтобы узнать, где и сколько ему отведут земли.

После ухода отца мать сказала, что он всю ночь не спал и утром ушел без завтрака. Было отчего мучиться: нивы, которые он об- рабатывал до сих пор, перешли ему от отца, а тому от деда. Нивы были ухоженными, и уро- жай с них получали неплохие. И вот пришло время с ними расставаться, а получить что-то подходящее взамен было маловероятным. В результате раздела зятям нарезали отруба на тех полях, которые им нравились. Мужики еще говорили, что землемер оказался плохим и нарезал отруба в виде треугольников. Тогда говорили, что они имеют форму «штанов». Некоторым достался пар, другим – ржаное поле, некоторым – клевер.

Зима 1927 - 1928 гг. была бесснежной и дождливой, а весна – поздней и холодной, поэтому посевная задержалась. Затем пошли холодные дожди, небольшие болотца превра- тились в озера, все низкие поля залило водой, появились большие стаи чаек, которых раньше в наших краях не было. Холодными и дождли- выми были также лето и осень 1928 г. И вот в таких неблагоприятных условиях пришлось переходить на новые условия землепользо- вания. Из-за большой переувлажненности не каждую ниву можно было обрабатывать, возникла проблема – что сеять в результате нарушения севооборота. Было много не- доразумений и нелицеприятных моментов между соседями. В те годы зяблевой вспаш- ки не производили, а сеяли яровые и лен по весновспашке, поэтому холодная дождливая весна надолго задержала весенние полевые работы. Яровые посеяли поздно, и на неко- торых полях они не успели созреть. А моему отцу вообще не было возможности что-либо посеять, потому что ему досталось низмен- ное паровое поле. На ниву, предложенную соседом, вообще невозможно было въехать, т.к. весной она была залита водой.

До раздела земли на отруба все жите- ли деревни пасли скот в отдаленной рощице Бугреево, куда коров водили на веревках и до уборки урожая пасли по очереди. Теперь же каждый хозяин должен был содержать скот на своем отрубе, в результате для ребята- шек моего возраста детство закончилось: в дождь, холод, жару и грозу с раннего утра и до позднего вечера надо было находиться у своего скота. В семьях, где пастухов не было,

скот приходилось держать в поле на привязи. Раньше скот пасли ежедневно два постоянных пастуха, а третий выделялся по очереди. Мне с постоянными пастухами никогда не было страшно: ни грозы, ни бродячих собак, которые скрывались во ржи. А вот когда стал пасти свой скот один, на небольшой луговой площадке в низине, из которой не видно было деревни, я боялся, плакал, когда появлялась на горизонте грозная туча, когда пробегала бродячая собака. Особенно было страшно, когда взрослые, занятые работой, запаздывали засветло прийти за скотом. Еще сложнее было с выпасом лошадей. Раньше все жители выводили их в «ночное» и пасли по очереди, теперь же пришлось навязывать их на отрубях на цепи, сплетенные из проволоки. В одиночку лошади находиться зачастую не хотели, срывались, теряли цепи, производили потравы посевов, что опять же приводило к ссорам между соседями.

Холодное дождливое лето 1928 г. задержало созревание озимых, их убрали только перед Спасом, яровые вообще не уродились, картофель погнил, и деревня оказалась под угрозой голода. В некоторых деревнях жители осенью 1928 г. продавали свое имущество и уезжали в Сибирь.

Моему отцу на семью из шести человек отмерили 8 га земли на двух полях, на расстоянии примерно в километр. Одно из них находилось в низине и было малопродуктивным. Отец отделился от братьев в 1924 г. и к 1928 г. уже успел обустроить свое хозяйство: имел лошадь, две коровы, несколько овец, откармливали увесистого поросенка, собственного хлеба всегда хватало. Но в семью пришло горе. Не помню в каком году, но было это весной в пору цветения черемухи: в возрасте 40 лет умерла мать. Отец остался с четырьмя детьми, старшему было 15 лет, а младшему – немногим более года. По неписанным правилам деревни на поминки приглашались все взрослые жители-односельчане, поэтому и затраты на похороны имели для нашей семьи тяжелые материальные последствия.

Я был во время отпевания в церкви. Ярко горели свечи, часто поставленные прямо на доски гроба, и от тепла их у мамы даже порозовели щеки. Старый сгорбленный священник негромко и быстро произносил слова молит-

вы, а псаломщик, великан с длинными черными усами, держа в руках черную широкополую шляпу, громовым голосом подпевал ему. А когда ему нужно было читать Евангелие, то он повесил шляпу на угол гроба у ног покойницы. Через много лет, будучи в 1938 г. на экскурсии в антирелигиозном музее в Ленинграде, я увидел экспонат с надписью «Церковники вооружаются». Это была толстая книга, в середине которой была сделана вырезка по размеру револьвера, и пояснялось, что сделал это псаломщик нашей Колбежицкой церкви. Фамилию его я забыл.

Все лето 1928 г. мы жили без мамы. Отец работал в поле, старший брат управлялся по дому – готовил обед, стирал белье, сажал овощи в огороде, средний нянчил сестренку, а я пас на своем отрубе скот в километре от деревни. Жить без хозяйки было очень тяжело. Отцу в то время было только 40 лет от роду, и вскоре он взял в жены бездетную вдову на несколько лет старше себя – родом из деревни Захонье, из очень бедной семьи. Она в детском возрасте осталась без матери, пасла скот богатых мужиков, жила с мачехой и терпела от нее обиды вплоть до того дня, когда ее приехали сватать. Сватал ее в первый раз тоже вдовец. Рассказывали, что выходить замуж за вдовца ей было обидно, и она спряталась в подвале, но дядя кнутом выгнал ее оттуда. Так ее и выдали замуж, а вскоре муж умер. Осенью 1928 г. отец привез Василису Михайловну в наш дом, перевез и ее ветхую постройку, немного хлеба и картофеля. Но перед семьей по-прежнему был вопрос: как жить в условиях нехватки хлеба, как избежать голода? Василиса Михайловна, уже не раз бывавшая в подобных ситуациях, предложила выход: выпекать хлеб с мякиной. Сначала пел (мусор после провеивания зерна) сушили в печи, промывали в лохани, затем просеивали на решете, удаляя землю и мелкий мусор, оставшийся крупный мусор толкли пестом в ступе. Чего было больше в хлебе – муки или пел, не знаю, но помню, что есть такой хлеб я долго отказывался. Но именно его наша семья ела всю зиму и весну 1929 г., а летом и такого хлеба не стало. Кончилась мука, затем пела. Каким хлебом питались соседи, не знаю, но слышал, что некоторые едят только два раза в день, а брат отца дядя Кузь-

ма хлеб выпекал из муки и обмолоченных льняных головок. Такой хлеб имел красивый желтый цвет, но был очень горьким.

Когда хлеб стало выпекать не из чего, отец занял у богатого соседа немного ржи с сорняками. Ее размолоти на жерновах, и из полученной «муки» испекли хлеб. После употребления его отцу стало плохо: появилась рвота, болела голова, его клонило ко сну. Соседи говорили, что он может уснуть навсегда, поэтому меня оставили дома и велели периодически будить отца. К концу дня ему стало лучше.

Весной 1929 г. каждое хозяйство обрабатывало уже только свой отруб, внедряя на нем севооборот. Т.к. семян для ярового посева после неурожайного 1928 г. не было, то их дало государство, – в основном семена овса. Лето 1929 г. выдалось теплым, без проливных дождей. Рожь, которой была засеяна большая часть отруба, выросла высокой и густой – даже проезжавшие удивлялись ее хорошему качеству. До созревания ее оставалось еще недели две, а хлеба никакого уже не было – питались одним молоком. Отец решил съездить к своему богатому свояку, чтобы попросить взаймы немного зерна и «дотянуть» до нового урожая. Богатый свояк, на много лет старше отца, показал ему свои большие запасы хлеба, но дать взаймы наотрез отказался. Отец, не лишенный самолюбия, уважаемый в округе человек, вынужден был встать перед свояком на колени и Христа ради просил всего лишь пуд зерна. Только после этого тот сжалился и насыпал в мешок зерна, сказав, что долг можно не возвращать. Вернувшись домой, отец сказал, что придется перейти на прием пищи два раза в день. На наше счастье рожь созрела быстро, дала хороший урожай, и наша семья стала питаться нормальным хлебом.

Какую цель преследовали власти, разделяя землю для каждого хозяйства на участки, непонятно – я никогда на этот вопрос не слышал вразумительного ответа. Может быть, хотели перед организацией колхоза просто поссорить между собой соседей. Но все же жители деревни, хотя и недовольные разделом, благоустроивали земли доставшихся им отрубов-хуторов: вводили севооборот, прокапывали вдоль дорог и в низи-

нах канавы, отводя излишки влаги. Хорошие погодные условия способствовали тому, что у большинства хозяев вырос неплохой урожай. Люди смирились с несправедливым разделом земли, надеялись, что все тревоги теперь позади.

В деревне в 1929 г. было 24 единоличных хозяйства, а проживали в ней 110 - 115 человек. По родственным связям хозяйства делились на четыре рода, или, как говорили, «себра». Самое большое и близкое между собой было «себро» Федотовых – Степины, Ванины, Миколины. Хозяйство Ваниных, в семье которого я родился, считалось зажиточным: имело три полевых надела, в дополнение к ним была прикуплена земля у барина, принадлежала им и часть пустоши Кадилово. Имелось несколько построек, три избы, всегда держали пару лошадей и др. Брат моего деда, чтобы не делить хозяйство, свою часть пожертвовал старшему брату и ушел в зятья в деревню Рунцево. Так поступали в те времена многие, хотя и считалось унижительным идти на такой поступок: говорили – «пошел в работники к бабе».

В 1924 г. братья разделились сразу на три хозяйства, и каждому досталось не так уж много имущества. В дальнейшем, однако, это спасло их от выселения. Так что успели они поделиться вовремя!

Самым большим и богатым в деревне было хозяйство Пантелея Матвеева, дальнего родственника отца. Пантелей был среднего роста, с небольшой бородой с проседью. С братьями Пантелей поделился давно, еще до революции, в семье было четыре сына и две дочери. Большую часть земельной площади занимали постройки: под общей крышей стояли две избы и сени, на некотором расстоянии – тоже под общей крышей – конюшня, хлев, амбары, клетки, на самом конце усадьбы стояло громадное гумно с ригой и сарай. В дореволюционное время Пантелей держал работника, только купленной земли у него было 40 десятин, коровы его в стаде были крупнее других. В семье выдывали овечьи шкуры, катали валенки. В деревне поговаривали, что живет он экономно, даже скупно. Зимой он ходил в поношенной шубе и в больших валенках с загнутыми сверху носами. Когда Пантелей заболел и оказался не в состоянии самостоятельно ез-

дять на базар в Псков для продажи яиц, масла и сала, то пришлось этим заниматься сыновьям, но без особого желания: по приезде с базара отец требовал от них письменного отчета с точностью до копейки. Свидетелем экономности этой семьи был и я. Однажды после окончания сенокоса мне довелось вместе со своим пасти и скот Пантелея, семья которого в это время сушила луговое сено. Работали четверо курящих мужчин, и вот замужняя дочь Пантелея стала ругать их за то, что они слишком часто прикуривают и много тратят спичек. Она нашла старую льняную веревку, подожгла ее и положила на камень. Веревочка потихоньку тлела, и мужики периодически прикуривали от нее свои самокрутки. Пантелей хотел скопить побольше капитала для сыновей, чтобы было что делить, когда придет время. Но в конце 1927 г. умер от чахотки его старший сын Иван, а в начале 1928 г. скончался и сам Пантелей. Хозяином стал второй сын Василий, которого в 1930 г. мобилизовали в трудовое ополчение. Через некоторое время такая же участь постигла и его брата Михаила. Оба они вернулись через несколько лет больными туберкулезом.

На южном краю деревни находилось хозяйство Максима Антонова, пришедшего в Заольшажье в зятя из деревни Панкратово. Первая его жена умерла, оставив Максиму двоих сыновей, от второй жены Пелагеи у него было две дочери. Изба его имела старческий изношенный вид, топилась по-черному. Такие бедные хозяйства пользовались особым покровительством сельсовета, и вскоре он продал (или просто отдал) Антонову переднюю избу Пантелея, обращенную к солнцу. Люди в деревне молчаливо этим возмущались и поступок Максима считали просто подлостью. Весной он перевез избу и поставил ее вместо своей старой, а жена Пантелея тетя Настя вынуждена была переселиться в заднюю избу, солнце в окна которой заглядывало только при закате в летние месяцы.

Другим хозяйством в деревне, подвергшимся раскулачиванию-грабежу, было хозяйство Алексея Петрова (Алексы). По рассказам отца, оно до Первой мировой войны не было особенно богатым, а поправило свое состояние именно в годы войны. В семье Алексы было три сына, один из которых – инвалид от рождения, вообще не мог работать, второй

погиб на войне, а третий, Михаил, пришел с войны невредимым. Хозяйству не пришлось делиться на части, Алекса и Михаил были высокими, сильными, трудолюбивыми мужиками. У Михаила было трое сыновей дошкольного возраста. И вот в 1930 или 1931 г. на него в соответствующие органы поступило заявление, в котором Михаила обвиняли в эксплуатации наемного труда. Его арестовали, и он умер в тюрьме. В семье остались двое стариков, инвалид, трое детей и жена Михаила Анна. Несмотря на такой состав, хозяйство Алексы раскулачили, оставив им только одну избу и сени. А хозяйство было большим: много построек, скота, а главное – молотилка с конным приводом и веялка, что в те годы было большой редкостью, но она же являлась и одним из основных признаков «кулацкого» хозяйства. Алекса вынужден был надеть через плечо суму и идти собирать милостыню, попросив перед этим у членов своей семьи прощения. Побирался он подалее от своей деревни, а в 1938 г. погиб в речке Ялычке: рассказывали, что голова его была в воде, а туловище на берегу.

Если в деревне Заольшажье избу «кулака» Пантелея отдали бедняку Максиму, то в деревне Ладыгино власти поступили иначе: переднюю избу «кулака» по кличке «Полценный» (возможно, кто-то в роду был ополченцем), окнами на солнечную сторону, отдали под школу, а семью переселили в заднюю темную избу. Необходимость заставила хозяев дома переносить присутствие большого количества постоянно бегавших по общему коридору и шаливших детей, и даже улыбаться учительнице. Роптать было нельзя.

В то время мне было 11 лет, и осенью 1931 г. я пошел в школу в д. Ладыгино, которая находилась в двух километрах от нашей деревни. Всего из деревни в школу пошло 8 ребят, до морозов все ходили босиком, от холода у меня разболелась нога. Придя из школы, надо было отправляться пасти скот на отрубе. С наступлением зимы нас в школу начали возить на лошадях. Учительницей в школе была молодая девушка, окончившая курсы и преподававшая в 1 - 2 классах. Звали ее Татьяна Ивановна, жила она в соседнем доме, в одном помещении с семьей хозяина. Зимой в школе организовали обучение взрос-

лой молодежи, которая приходила по вечерам из соседних деревень. Всем на удивление для школьников устроили чаепитие: каждому бесплатно выделялась ложка сахарного песка, каждое чаепитие являлось невероятным чудом. Ведь в те годы не каждый житель имел возможность купить сахар, а летом чаепитием и заниматься было некогда, его пили лишь зимой после бани или при появлении в доме гостя.

Хотя некоторых уже раскулачили, колхоза в деревне все еще не было. В одну из морозных ночей февраля 1931 г. из Заольшажья тайком неизвестно куда вывезли две семьи. После этого люди стали бояться, особенно те, кто считался зажиточным. Ведь вывезенные Феоктист и Александр Анисимовы к тому времени, кроме хорошей постройки, не имели уже никакого богатства. До революции они даже нанимали работника из соседней деревни Голубы – Павла, по прозвищу Барышников. При разделе на отруб он был председателем Гавриловского сельсовета, и из «уважения к бывшим хозяевам» Анисимовым была отмерена наихудшая по плодородию земля и на самом отдаленном поле. Семья стала беднеть и перебивалась с хлеба на воду. Барышников и включил своих бывших хозяев в список подлежащих выселению. При выселении семью разделили: престарелого больного Феоктиста и двух его дочерей (одна немая, другая помешанная) взяла к себе живущая в деревне замужняя дочь, а троих дочерей Александра (старшая училась в первом классе, две другие были малолетними) отвели к моему дяде Михаилу, у которого детей не было. Впоследствии их забрала тетка, а хозяйство Алексея раскулачили, оставив им только одну избу и сени. Из дома Феоктиста увезли его сына Егора с женой Ириной, двух маленьких девочек и дочь Марфу, которая через некоторое время прислала письмо подруге: «Дорогая моя подруга, пропишу тебе домой, что Синявинское болото оказалось тюрьмой». Взрослые говорили, что выселяемым не разрешалось даже брать большого количества вещей. Через какое-то время после высылки было объявлено о торгах на распродажу имущества выселенных. В деревне переговаривались: неужели найдутся люди, которым совесть позволит купить чужое!?

В день торгов в избе Александра собралось много деревенских мужиков, но пришли они не покупать что-либо, а интересовались, кто же все-таки посмеет это сделать. Я пролез между ног собравшихся и забрался на лежанку, откуда все хорошо было видно: как незнакомый мне мужчина на поднятых кверху руках тряс черное женское пальто, объявлял его стоимость. Но пока я находился на лежанке, желающих купить черное пальто не нашлось. Чем закончились торги, не помню, но говорили, что из жителей деревни никто ничего не купил.

В один из зимних дней люди собрались в избе дяди Михаила, – просто поговорить и за беседами провести время. Среди дня явились представители сельсовета, жители соседней деревни Гаврилово. После слов приветствия один из пришедших, по фамилии Брусов, с которым дядя был в ссоре, сказал: «Если пришли жениться, так нечего стыдиться. Предлагаем всем посторонним покинуть помещение. Нам нужно описать все имущество хозяина». Хозяин дома, как рассказывал отец, побледнел, как мертвец, услышав предложение властей. Описали все, что имелось: скот, инвентарь, зерно, одежду, обувь. Ничем из попавшего в опись хозяин отныне не имел права пользоваться и распоряжаться. В тот же день описали имущество еще нескольких жителей деревни. Все, кто был позажиточней, стали прятать зерно: возили в лес, зарывали в снег, у отца ячмень был запрятан под мостом на дороге. Пришло время подружиться с бедными родственниками, которые уже были колхозниками.

Отец отправил все, что могло привлечь представителей власти, к родне мачехи в деревню Краснодудово, а в страхе наша семья жила до 1935 г. – до тех пор, пока отец не записался в колхоз. Иногда дело доходило до смешного: как только в деревне появлялись незнакомые люди, одетые в черное, на меня надевали несколько одежек, за пазуху совали мешочек со старинными деньгами и отправляли на пруд, где я находился до тех пор, пока подозрительные не уезжали. Случалось, отец прятался, чтобы его не послали отвозить конфискованное имущество. Тогда говорили: сегодня ты повезешь отобранное, а завтра повезут от тебя. К счастью, ему так и

не пришлось участвовать в этом неблагоприятном мероприятии.

Собрания граждан деревень по организации колхозов проводились в течение всего года, в зимнее время – особенно часто. В помощь сельскому активу прибыли рабочие бригады из города, агитаторы разъясняли мужикам преимущества ведения хозяйства на общественных началах, говорили о вреде единоличного хозяйства, его экономической неэффективности, но все равно большинство жителей деревни загею организации колхозов считало делом несерьезным, которое ничего хорошего не принесет. Рассуждали просто: если даже два брата не могут поладить, вместе не живут, а делятся, то что произойдет, если объединятся вместе труженики и лентяи, многодетные и бездетные, зажиточные и босяки... Никто ведь не поладит в таком объединении! Многие надеялись, что волынка по организации колхозов скоро прекратится, т.к. желающих объединяться немного, другие считали вступать в колхоз просто грехом. Людям не объяснили, что программа по организации колхозов, намеченная властями, будет выполняться до конца, и рано или поздно в колхоз придется вступать всем.

В нашей деревне были два активиста: членом сельсовета являлся Алексей Романов, недавно вернувшийся из армии и считавшийся «политически подкованным», а уполномоченным – Григорий Грубин, родом из деревни Жуково, находившейся в Латвии. На самом краю нашей деревни стояла низенькая ветхая избенка – единственная такого рода в деревне, проживал в ней Петя Марков. Вот в эту избенку и пришел в зятя Грубин, гордившийся своей бедностью. Собрания проходили под руководством председателя сельсовета Кирилла Яковлева, жителя деревни Гаврилово, сменившего Павла Барышникова. Во время собрания эти активисты заявляли: мы подадим заявления о вступлении в колхоз, только пусть сначала запишутся другие жители деревни. Но желающих чаще всего не находилось, либо их были единицы, поэтому колхоз организован так и не был. Такой спектакль продолжался не один год, возможно, с целью показать, что в «кулацкой деревне» надо решительнее проводить раскулачивание.

Жил в деревне Митрофан Николаев, единственный в семье сын, поэтому хозяйство его долго не делилось, имело много построек, скота и очень большой сад. Митрофан пришел с гражданской войны позже других односельчан, он рассказывал, что ему не раз приходилось, спасаясь от белых, переплывать Волгу: привязывал на голову одежду, револьвер и плыл на противоположный берег. В деревне поговаривали, что Митрофан затевает организовать колхоз, но вдруг его арестовали, судили и «дали срок». Остались четверо детей (старшему было лет семь) и престарелый отец. Митрофан вернулся из заключения только весной 1935 г. В один из вечеров он пришел к нам домой. Отца тогда уже не было в живых, и Митрофан беседовал со старшим братом. Он плакал, сильно обижался на активистов Романова и Грубина, отобравших после его ареста у семьи корову и оставивших детей без молока. Митрофана вскоре выслали в Старую Руссу (в родной деревне проживать ему не разрешили), а во время войны он и все его четверо сыновей погибли.

Ранней весной 1931 г. в соседнюю деревню Голубы вернулись ее жители, уехавшие в голодном 1928 г. в Сибирь – Захар Игнатьев и его зять Иван Шевелев («Шавырь»). Они поселились в доме выселенного в Синявино жителя и вскоре положили начало организации колхоза, названного «Парижская Коммуна». В этот колхоз вступили большинство жителей деревень Голубы и Гаврилово.

В нашей деревне следующей жертвой стал Иван Степанов, которого выслали в Апатиты на Кольский полуостров. Его жена Анастасия с дочерью-школьницей некоторое время проживала в деревне, а потом добровольно уехала к мужу. Многие «кулаки» из окрестных деревень были выселены в Синявинские болота, среди них оказался и двоюродный брат моего отца Семен из деревни Лабутины. В семье его была престарелая мать, ходила, опираясь на длинную палку. Отказываясь уходить из родной избы, она залезла на печь. Оттуда ее сняли, завернули ноги тряпками, вынесли на улицу и уложили в дровни. Случались и такие сцены! Из соседней деревни Голубы выселили двоих, в том числе Василия Плешка. Откуда у него было такое прозвище, не знаю. Был у него

приемный сын Емельян, которого с женой и двумя детьми увезли, а престарелого Плешку оставили. Он пошел проводить выселенцев за деревню, а когда вернулся, изба оказалась закрытой на замок. Зимой ему пришлось прожить у соседей, а с наступлением весны он пошел собирать милостыню. Часто можно было видеть на дорогах жалкую, в рваной одежде, еле передвигавшуюся фигуру старика, опиравшуюся на две палки. Ночевал он там, где перед ним не закрывали дверь, в том числе несколько раз и в нашей избе.

Помню, как в один из праздничных дней у нас собралось много народа, и тут пришли представители колхоза «Парижская Коммуна» с отчетом о работе колхоза за прошедший сельскохозяйственный год. Счетовод колхоза докладывал, кто сколько заработал и как хорошо в колхозе живет. Привел он и такой пример: жена председателя сельсовета, работавшая в колхозе, помимо всего прочего получила полторы овечьи шкуры. На деле оказалось, что в конце года просто забывали отобранных у «кулаков» и обобществленных овец и делили мясо и овечьи шкуры между колхозниками. В первые годы обязательного государственного плана поставок у колхозов еще не было, зато в дальнейшем всякие попытки раздела колхозного имущества стали рассматриваться как вредительство, а виновных отдавали под суд.

После того, как из деревни Гаврилово выселили в Синявино семью Русаковых, в их избе открыли школу для первого и второго лет обучения, и мы стали учиться там. В ней было два учителя, но чаем здесь уже не поили, и каждый ученик брал обед с собой: чаще всего в торбочке приносили хлеб и соленый творог. В декабре 1931 г. в школе состоялось общее собрание жителей трех деревень – Гаврилово, Голубы и Заольшажье, присутствовали и мы, школьники. Перед собравшимися выступал секретарь райкома Маслов. Был он среднего роста, с бритой головой, в начищенных хромовых сапогах, одет в темно-зеленую гимнастерку и такие же галифе. Он расхаживал по свободному пространству вдоль классной доски перед сидевшими за партами мужиками и рассказывал о преимуществах общественного ведения хозяйства. Какие он приводил при этом доводы, я уже не помню,

но хорошо запомнил угрозу: тех, кто не вступит в колхоз, будут выселять. Уходя с собрания, мужики между собой переговаривались, что Маслов по своим замашкам походит на царского офицера. В дальнейшем его объявили «врагом народа».

Обычно в нашей деревне в ноябре начинали трепать лен. Теперь же в ноябрьские праздники делать это не разрешили, бывали даже случаи, что по деревне ходил милиционер и прислушивался, не слышны ли где звуки трепала: надо было праздновать очередную годовщину Октября! Зато после ноябрьских праздников с обработкой льнотресты началась лихорадочная спешка. Каждый день надо было сообщать в сельсовет, сколько килограммов натрепали: выполнение плана госпоставок не ждало! Для более оперативного выполнения заданий ежедневно в сельсовет выделяли дежурного. В один из дней дежурным был мой брат Иван. Из школы меня послали со сводкой в деревню Епимахово, мой отец принес справку о количестве натрепанного волокна в деревне Заольшажье. И вот мы втроем оказались в Гавриловском сельсовете. Увидел нас, членов одной семьи, председатель сельсовета Кирилл Яковлев и сказал: «Вы всей семьей работаете над выполнением плана льнозаготовок». Чтобы выполнить задание по льнозаготовкам, власти не давали жителям покоя. Не принималась во внимание даже болезнь, применялись и карательные меры. У моего отца план был всегда выполнен, но лихорадочной нервотрепки натрепались.

Весной 1932 г. землю выселенных в Синявино никто не засеивал, и большое поле пустовало. На него всей деревней стали выгонять на выпас скот, пасли его по очереди, которая выпадала не так часто. Так я избавился от муки: раньше в течение трех весен, трех лет и такого же количества осеней я выпасал на своем отрубе двух коров и более десятка овец ежедневно, теперь же – от случая к случаю.

Еще летом 1931 г. старший брат Иван уехал на заработки в Ленинград, знакомый устроил его бетонщиком на стройку. Весной 1932 г. он прислал домой посылку: мне – хлопчатобумажный пиджачок без подкладки и две ситцевые кепки с красивой клетчатой

расцветкой, чему я был очень рад. В августе брат сообщил, что приезжает в отпуск. Отец запряг лошадь, и мы поехали за ним в Псков. За год Иван подрос, и как мне показалось, отличался от деревенских парней. Приехал он в новом костюме, ботинках и чистой рубахе, с упитанным лицом. Мне он привез галоши, что было тогда редкостью. Но вскоре стряслась беда: заболел средний брат – 18-летний Михаил, выполнявший вместе с отцом все сельскохозяйственные работы. У него поднялась температура, он потерял сознание, кричал, бредил, пытался вставать с постели и бежать из дома. Через некоторое время Миша умер в больнице в Пскове, и старшему брату Ивану пришлось остаться в деревне, чтобы помогать отцу по хозяйству.

Тем летом в деревне произошло невероятное: в Заольшажье переселили пять семей из других деревень. Одна семья была выселена из деревни Самуленки и состояла из матери лет 50 и трех детей, старшей Варе было 17 лет, средняя дочь и сын учились в начальной школе. Вселили их в дом Лариона, который жил с взрослой дочерью. Впоследствии выяснилось, что муж вселенной женщины жил и работал в Ленинграде и даже один раз приезжал к семье. Вторая семья была выселена из деревни Грабежи и состояла из четырех человек: главу семьи звали Иваном, с ним были жена и две дочери-школьницы. Их вселили в избу Пантелеевых, в которой жила тетя Настя с двумя сыновьями, один из которых болел чахоткой. Третья семья была из деревни Усадище – муж Ефим, жена и двое мальчишек-школьников, их вселили в избу Митрофана Николаева, сидевшего тогда в тюрьме. В избе проживала жена Митрофана Мария с четырьмя детьми, старым отцом и двумя престарелыми тетками. Как все они смогли разместиться в одной избе, трудно даже представить. Четвертая семья из деревни Мольгино состояла из старика со старухой, их невестки и двух ребят школьного возраста, вселили их в избу выселенного в Апатиты Ивана Степанова. Из той же деревни была и пятая семья – большая и трудоспособная: хозяину было не более 50 лет, он был высоким и сильным человеком, такой же была и его жена, в семье было две взрослых дочери, взрослый сын и школьник. Вселили их к раскулаченному Алексе, у которого семья тоже

была большой: двое стариков, убогий взрослый сын, невестка Евдокия с тремя детьми. Размещаться такой ораве в одной избе тоже было затруднительно. Какое имущество привезли с собой переселенные – не видел, потому что в тот день пас скот, но знаю, что одна из семей деревни Мольгино привела корову. За что их переселили, нам было неизвестно: ведь все эти семьи не относились к зажиточным. Скорее всего, потому, что их деревни находились недалеко от границы, и оттуда периодически выселяли «неблагонадежных». Эти семьи прожили в Заольшажье до марта 1935 г., после чего их выселили в Среднюю Азию. Пока они жили в нашей деревне, земли для посева и огорода им выделено не было, они нигде не работали. Остается только удивляться, на что они существовали и как не умерли с голода. Все хозяйства, к которым их вселили, к тому времени были раскулачены и возможности поддержать постояльцев не имели. Но никаких скандалов между ними, помнится, не было: жители деревни относились к переселенным хорошо, как к людям, попавшим в беду. Пожилые собирались вместе побеседовать и покурить, молодежь вместе ходила на гулянки, а дети в школу. Они вместе, особенно в узком кругу, ругали власть, и надо отдать должное: кляузников в деревне не оказалось, хотя и жили в ней рядом выселенные, ограбленные, осужденные.

Зимой 1932 г. из жителей деревни никто не вступил в колхоз, хотя собрания по организации его проходили не раз. Проводились они часто, нередко по пустыкам, поэтому отец нередко, получив сообщение о собрании, посылал меня узнать, по какому вопросу собирают. Если присутствие его было обязательным, то я сообщал ему об этом. Так было и в тот поздний вечер, когда сообщили, что в избе кузнеца Григория состоится собрание. Как всегда, отец послал меня разузнать. Я зашел в избу, где уже сидело несколько человек, расхаживал председатель сельсовета Кирилл Яковлев. Он был явно не в духе, выражение лица злое. Прохаживаясь по избе, он обратился к жене дяди Михаила с вопросом: почему дядя не пришел на собрание, и в то же время дома агитирует людей не записываться в колхоз. На это Клавдия ответила: «Не болтай, он лежит больной». Яковлев рассвирепел:

«Я болтаю? Пойдем со мной!». И повел ее неизвестно куда. На том собрание и закончилось. Придя домой, я рассказал о случившемся отцу, и он очень расстроился. Утром, когда я шел в школу, одна из школьниц рассказала, что Яковлев привел Клавдию в их избу, туда же пришел и мой крестный – дядя Михаил, узнав о случившемся. Он встал перед Яковлевым на колени, начал кланяться и умолять: «Кирилл Яковлевич, прости глупую бабу». Яковлев смиловился, но через несколько дней здоровье крестного совсем ухудшилось, его отвезли в Палкинскую больницу, но там не оставили и привезли обратно. Я видел на его губах и зубах кровь, у него болела грудь. Каждый день после школы я навещал его, он постоянно жаловался, ничего не ел, просил яблок (а тот год на яблоки был неурожай, и родственники ездили за ними в дальние деревни, но там тоже не нашли). Перед самой смертью болезнь на время отступила, крестный мог сидеть на кровати, разговаривать, но все это длилось недолго. Когда я в очередной раз пришел к нему, он лежал на кровати и стонал, рядом сидели старшие братья. Большой вскоре затих...

Недалеко от нашей деревни, на берегу речки Ялычки у деревни Сухлово было построено здание льнозавода, но оборудования для переработки тресты не установили, а затем постройку вообще разобрали. Заготовленные для завода стога с трестой стояли несколько лет, а зимой 1931 г. некто Левин решил организовать ее переработку. Он ездил по ближайшим деревням и предлагал разбирать стога, свозить тресту в гумна, сушить и мять на ручных машинах, а затем отправлять ее в Псков. Предлагал он за работу неплохие деньги, и перерабатывать тресту согласились многие крестьяне. У отца и дяди была собственная льномялка с конным приводом, поэтому согласились и они. Работа продолжалась месяца два, Левин аккуратно платил по 20 руб. и призывал ускорять темпы. Так продолжалось до тех пор, пока треста не кончилась, и Левин преподнес мужикам платежную ведомость с обозначенной большой суммой. И оказалось, что платил он по 20 руб. за одну ригу, а в ведомости значилось 20 руб. за центнер (сколько центнеров вмещала сушилка риги, не помню, но не менее 5 ц),

и предлагал мужикам ее подписать. Отец подписать такую ведомость отказался, а вот дядя подписал, надеясь, что Левин ему одолжит какую-нибудь сумму. Левин ругался на отца нецензурными словами, но ведомость в деревне тоже почти никто не подписал, посчитав ее фиктивной и понимая, что большой заработок чреват значительными налогами. За то, что отец не подписал фиктивную ведомость, Левин ему отомстил: в тот же день к нам зашел мужчина из деревни Краснодудово по прозвищу «Крестьянин» и, ни слова не говоря, снял с жердочки сохнувшие, вынутые из раствора овечьи шкуры, перекинул через плечо и молча вышел из избы. Позже, уже в 1938 г. я видел Левина на станции Черская в будке, где принималось утильсырье, а уже после войны от одного из работников сельпо узнал, что с началом войны Левин дожидался немцев. Он надеялся, что они разрешат ему открыть торговлю, но немцы зарыли его вместе с женой живыми в землю.

В течение 1932 г. по-прежнему жители Заольшажья в колхоз не вступали. В то время в нашем хозяйстве имелись лошадь, две коровы и с десятков овец, мы полностью уплатили сельхозналог, выполнили все нормы госпоставок сельхозпродукции. А летом, во время сенокоса сельсовет приказал отвезти одну нашу корову в колхоз «Безбожник» в деревню Харлапково. Наша старая корова молока давала много, а молодая пока что мало, поэтому долго думали, с какой из них расстаться. Но отец понимал, что скоро могут забрать обоих, т.к. наше хозяйство было на очереди к раскулачиванию. Поэтому он отвел в колхоз молодую корову, и в правлении «Безбожника» ему сказали: «Привел корову – хорошо», но даже расписки никакой не дали. Потом говорили, что корову зарезали и мясом кормили колхозников во время сенокоса. После этого в семье стало еще тревожней. Все, что представляло какую-либо ценность, было спрятано или отвезено к родственникам мачехи, ножки швейной машины вывезены в поле вместе с навозом. Ждали со дня на день уполномоченных по раскулачиванию. Как-то среди зимы приехали двое из колхоза «Первое мая» и, не разговаривая с хозяином, нагрузили из сарая воз сена и увезли в колхоз в деревню Кашино. Кто их на это уполномочил, не известно.

Новая беда пришла в нашу семью в марте: заболела старая корова, но лечения никакого не предпринималось, все надеялись на божью помощь. Когда корова перед смертью откинула голову, отец перерезал ей горло. Но как снять с туши шкуру, в деревне никто не знал, пришлось отцу ехать за «специалистом» в дальнюю деревню. После того, как шкура была снята, увидели, что мясо было красным, кровяным. На третий день повезли его в Псков на базар, но там такое мясо покупать не желали. Хорошо, что приобрели его по недорогой цене для столовой. Денег на приобретение новой коровы не было, и весной отец купил телку. В течение двух лет на нашем столе не было молока, питались хлебом с костром, соленой плотвой, огурцами, капустой, квасом, и на таком рационе выполняли все тяжелые сельскохозяйственные работы. Отец вскоре заболел туберкулезом.

В 1933 г. печальная судьба постигла и моего двоюродного брата Василия. Когда он шел вечером вместе с женой с ярмарки, его нагнали двое парней и молча ударили сзади камнем по голове, а потом уже лежащего на земле – и ножом, отчего он умер. Парней собирались судить показательным судом, но они оказались трактористами-ударниками, и приговор им смягчили.

Между тем нас постоянно одолевала мысль – что делать дальше? В округе уже почти все хозяева вступили в колхозы, других раскулачили и выселили. Единственной единоличной деревней оставалось Заольшажье, но из нее постепенно вывозили постройки в колхоз «Первое мая». Можно было уехать на постоянное место жительства в город, например, в Псков, но для этого требовалась справка сельсовета, которых единоличникам не давали. Первым из нашей деревни уехал в Псков сельский активист, бессменный член сельсовета Алексей Романов. Справку он получил, скорее всего, благодаря знакомству с председателем сельсовета Кириллом Яковлевым, а избу оставил сестре. Многие мужики роптали на него, «Лешку Петрушкина», даже мысленно хотели отомстить ему физически, но в каждый приезд в деревню он ни с кем не общался.

В бывшем помещичьем имении Лещихино был организован свиноводческий совхоз «Ударник», и туда устроился работать

грузчиком старший брат Иван. В большой семье Петрухиных в деревне Ладыгино жила моя двоюродная сестра Анисья. Она была замужем за младшим братом Петрухиных Михаилом, у них было трое детей, младшему в 1935 г. было немногим более месяца. Семья же Петрухиных состояла из 17 человек, хозяином был старший брат Яков, и в этой большой семье царили мир и согласие. Хозяйство собственным трудом встало на ноги, но затем его стали считать кулацким. В колхоз братья не вступили, решили поделить хозяйство на три отдельных, но сельсовет такого «своевольства» не позволил. Так и считалось хозяйство единым. Якова вскоре за какие-то «грехи» посадили, а два других брата жили в постоянном страхе, очень часто проводили дневное время у нас, а домой возвращались только ночью. И вот однажды мартовским утром жителей деревни облетело известие, что ночью арестовали и увезли в неизвестном направлении всех мужчин из тех семей, которые были переселены в нашу деревню, а всем остальным их членам приказали в недельный срок приготовиться к высылке. Арестовали тогда и братьев Александра и Михаила Петрухиных. Как проходили сборы и подготовка к высылке в нашей деревне, я не знаю, потому что тогда каждый день после школы уходил в деревню Ладыгино помогать сестре упаковывать домашние пожитки. Стоял март, снег раскис и при ходьбе продавливался до земли. Веревоочные льняные лапти промокали, пропитывались водой, ноги мерзли, поэтому, приходя к сестре, я первым делом разувался, выжимал носки и портянки и обувался вновь.

Сестре я помогал укладывать в сундуки, ящики, корзины и мешки одежду, обувь, постельные принадлежности, продукты. Какие тяжелые душевные муки пришлось пережить Анисье в эти несчастные дни! Власти сообщили, что выселенцев повезут на станцию Черская. Проводить выселяемых вышли все жители деревни, было много слез как у выселяемых, так и у провожавших их. В середине дня обоз из нескольких подвод начал выезжать из деревни, выселяемые и провожающие шли пешком, только на одной из телег сидели престарелая тетя Настя с больным туберкулезом сыном Михаилом. Когда подводы

выехали из деревни, то все увидели, что обоз длиною около километра движется и от деревни Леонтьево, откуда тоже производилось выселение. Печальная картина этого обоза до сих пор стоит перед моими глазами. Сколько тревоги и печали было в глазах сидевших на своих пожитках женщин, как тревожно безмолвствовали сидевшие рядом с ними дети! Чем были виноваты эти простые деревенские женщины – Анисья, Анастасия и другие? Только тем, что много работали, экономно жили, растили детей...

Весной 1935 г. записались в колхоз «Парижская Коммуна» два хозяйства нашей деревни Заольшажье – Максим Антонов и Антон Васильев, земли выселенных по-прежнему не обрабатывались и использовались для пастбища. В один из дней второй половины апреля пасти скот пришла моя очередь. Листья на деревьях еще не распустились, но непаханные обширные поля покрылись зеленым покрывалом молодой травы. Было тихое солнечное утро с безоблачным небом, солнце посыпало свои лучи, одаривая благодатным теплом все живое на земле, чистый воздух был наполнен свежестью и пением жаворонков. Летали над животными чибисы, из небольшого болотца были слышны всплески воды и криканье уток, а из ольховых кустов доносилась однотонная незатейливая песня птички-малютки. В природе царил небесная благодать. Природа в эти часы была настолько умиротворенной, что казалось, у людей нет причин для того, чтобы причинять друг другу боль. Но власть создавала в обществе людей вражду и ненависть, отнимала у них возможность спокойно жить, распоряжаться своей судьбой. Подтверждением тому стала кампания по выселению в марте 1935 г.

Солнце поднималось к зениту, животные легли на отдых, а я сел на землю, прислонился спиной к большому камню и решил немного отдохнуть. Не успел я по-настоящему расположиться и закрыть глаза, как услышал: «Вася, сынок, здравствуй!». Открыв глаза, я увидел мужчину, внешний вид которого был очень жалким: он был выше среднего роста, с небольшой с проседью бородой, бледное лицо в глубоких морщинах, небольшие карие глаза смотрели на меня доброжелательно-ласково, на нем была изношенная одежда

из домотканины, на ногах старые порыжевшие сапоги. Передо мной стоял несчастный человек, дядя Яша из деревни Ладыгино, за родным братом которого Михаилом была замужем моя двоюродная сестра Анисья. Его семью недавно выселили в Среднюю Азию, а самого его, непонятно за что получившего «срок», освободили. Изба его стояла на прежнем месте, но жить в ней ему не разрешили, и приютила его сестра, жившая с мужем в деревне Межник. От этой деревни до места, где я пас скот, было около трех километров. Дядя Яша присел на землю и попросил меня написать письмо родным в Среднюю Азию. Он достал дощечку, химический карандаш, бумагу, и я начал писать. Дословно содержания письма не помню, но начиналось оно с низких поклонов: жене, сыновьям Ивану и Саше, дочерям Анне и Ольге, брату Александру, невестке Анне, племянникам... Дальше он сообщал, что вернулся домой, живет у сестры, живет хорошо... Но, очевидно, в семье сестры ему были не слишком рады: у нее была дочь-школьница, моя одноклассница, и написать письмо вполне могла она. Но попросил он сделать это меня, пройдя несколько километров и каким-то образом узнав, что в этот день я пасу скот. В дальнейшем с такими просьбами дядя Яша приходил ко мне еще несколько раз. Иногда он приходил к нам в Заольшажье ночевать. Бывал ли он когда-нибудь сытым, вернувшись из заключения? Вряд ли. Когда он бывал у нас, ему было не дожидаться, когда сварится в чугушке картошка, и доставал картофелины прямо из кипящей воды. Я видел его и в Палкине, слышал рассказы, что он заходил в столовую вылизывать тарелки.

После того, как брат устроился работать в совхоз «Лещихино», забот у меня прибавилось: каждую неделю я носил ему хлеб (а расстояние было километров 15). Когда я приходил к брату, он водил меня в столовую, где покупал тарелку супа с мясом. Суп был очень вкусным. В совхозе брат жил сначала у родственника, а летом в сарае. Однажды, когда я в очередной раз пришел к нему с караваем, ему дали суточного поросенка, оказавшегося «лишним». Я принес его за пазухой домой, мачеха его выкормила, а когда он подрос, то решили свезти на базар в Псков,

потому что кормить его было нечем. Везти поросенка мимо Лещихина отец опасался: вдруг попытаются узнать его происхождение. Но все обошлось благополучно.

В мои обязанности входило носить молоко от личной коровы на Харлаповский молокозавод. Наливали трехлитровую бутылку, ставили ее в мешок, я забрасывал его за спину и отправлялся на приемный пункт за 3 км от дома. Лаборант проверял молоко на жирность, и если она была ниже нормы, приходилось молоко нести назад. А норму обязательных поставок (240 литров в год) надо было обязательно выполнять.

В один из весенних дней, когда все яровые были уже посеяны, к отцу во время вспашки парового поля верхом на лошади подъехал мужчина. Это был работник свиноводческого совхоза «Ударник» из Лещихина. Он предложил отцу пойти работать в совхоз, и как работник совхоза, он будет освобожден от поставок государству сельхозпродукции. Отец согласился, т.к. понимал, что единоличнику все равно спокойно жить не дадут. В течение всего лета и осени 1935 г. отец и брат шесть дней работали в совхозе, а в воскресенье – на своем поле. Первые недели они ездили в совхоз на лошади, но затем стали опасаться оставлять ее без присмотра на совхозной территории, и ходили почти пятнадцать километров пешком. Отец косил в совхозе ручную траву, зарабатывал немного, т.к. ручной труд ценился дешево. Жилья для него с сыном в совхозе не было, жили в сарае, а питались тем, что брали с собой из дома. В один оставшийся день на своем поле приходилось работать с большим напряжением, и нагрузка подорвала здоровье отца. Надо было обработать поле в 8 га, скосить, убрать, выгребить лен, выкопать картофель, обмолотить зерновые. Молотилку приходилось крутить вручную, что было нелегким делом.

В совхозе наше хозяйство освободили от сдачи государству сельхозпродукции, но начислили такой большой денежный налог, что выплатить его оказалось не под силу. Заработать нужной суммы в совхозе отцу с сыном не удалось. Отец говорил, что даже если мы всей семьей продадимся в рабство, все равно денег для уплаты налога не хватит. Надо было решать: или вступать в колхоз и

таким путем освободиться от налога, или же ждать, когда опишут все хозяйство. Работа в совхозе отцу не нравилась, он считал, что совхоз несколько не лучше колхоза. Отцу предлагали перевезти избу в Лещихино, но он, посоветовавшись с братом Кузьмой, решил записаться в колхоз. Вместо с ним они отправились к председателю сельсовета Кириллу Яковлеву в деревню Гаврилово, чтобы узнать порядок вступления в колхоз. Председатель ознакомил их с Уставом сельхозартели, но сообщил, что кампания по коллективизации завершена и можно жить единолично, но при условии полной уплаты сельхозналога и сдачи сельхозпродукции. Но денег для уплаты налога не было, и отец все же подал заявление в колхоз. Записал он себя, 7-летнюю дочь Зинаиду и меня, 15 лет от роду. Мачеха и брат Иван вступать в колхоз отказались. Так в деревне Заольшажье появились еще два колхозника. Это было в ноябре 1935 г. После того, как правление колхоза приняло нас в артель, начисленный сельсоветом сельхозналог списали, отцу стало спокойнее, но здоровье его продолжало ухудшаться. Однажды отец шел домой, захотел пить и напился стоячей воды. После этого у него стало першить в горле, голос стал тихим и хриплым, его беспокоил кашель, хотя курил он мало. Несмотря на недомогание, он продолжал работать по хозяйству, а за помощью к медработникам не обращался. В начале зимы он с сыном Иваном возил в Псков трепаный лен, посетил там больницу, где ему предложили госпитализацию, но отец отказался: надеялся вылечиться самостоятельно, принимая настойку столетника. По понятиям того времени оставить дом без хозяина считалось невозможным. Но домашнее лечение не помогло, в январе отец слег в постель, а в феврале скончался. Перед смертью он говорил, что умирает со спокойным сердцем: мы записались в колхоз, и нас не выселят из своей избы. Умер отец в феврале 1936 г., в начале ночи. Мачеха в это время сидела на кровати у его ног, около нее стояла сестренка Зина, брат сидел на стуле у изголовья отца, а я на лежанке напротив кровати.

Последние минуты отец лежал с закрытыми глазами, дыхание его становилось все реже, разговаривать ему было тяжело. Было ему тогда еще только 48 лет, моему старше-

му брату – 22, мне – 16, сестре – 7, а мачехе – 50. Во всей округе оставалась незакрытой только одна церковь – в Бобьякове, куда и отвезли для отпевания отца. Священник, еще не старый человек, то ли по рассеянности, то ли после выпивки, называл отца вместо Анисима Никоном. Дядя Кузьма дважды напомнил ему, что покойного звали Анисимом, но священник по-прежнему произносил «вечная память Никону». После отпевания в сторожке священника отогревались водкой и поехали на кладбище километров за 8 - 10. Дома после похорон были устроены не очень богатые поминки. Соседи говорили, что Анисим неплохо прожил свою жизнь. Я очень сожалею, что очень мало знаю о своих предках, в том числе и о жизни отца. Я не знаю, где проходила его служба в годы Первой мировой войны. Помню лишь по рассказам, что служил он конным ординарцем, в обязанности его входила доставка донесений в штаб, поддержка связи и т.п. Знаю, что в Красную Армию его не призвали по возрасту, а когда

деревню в 1919 г. занял Булак-Балахович, он находился дома и к белым не примкнул. Мало того, он отговаривал от службы Балаховичу племянника матери Сергея, хотя тот его не послушал. В одном из столкновений с красноармейцами в деревне Грибули Сергея взяли в плен красные, в лесу между деревнями Сопки и Рубилово заставили вырыть для себя могилу, надели на него царские погоны и расстреляли. Сергею в то время не было и 20 лет. Отца Сергея, дядю Алексея красные тоже хотели расстрелять, но за него вступились соседи, и его пощадили. Умер он уже в годы Великой Отечественной войны.

В одной из радиопередач говорилось о массовом мародерстве красных в годы гражданской войны. Отец же рассказывал совершенно другое. Когда у деревни Заольшажье разгорелся бой между красными и белыми, он с семьей, бросив на столе недоеденный ужин, укрылся в заранее подготовленном окопе. Красноармейцы, выгнав из деревни белых, зашли в дом, но никаких безобразий не делали.

Окончание следует